

Владимир Фёдорович Одоевский

Свидетель



Владимир Одоевский
Свидетель

«Public Domain»

1839

Одоевский В. Ф.

Свидетель / В. Ф. Одоевский — «Public Domain», 1839

"Всенощная отошла. Сквозь полукруглые окна проходили длинные, багровые лучи заходящего солнца, волновались в облаках церковного фимиама и рядами ложились на светлую позолоту иконостаса – как долгая, горькая, взволнованная кровавыми страстями молитва, достигшая наконец скинии завета души человеческой. Свежий вечерний воздух проникал в растворенные двери. Миряне начали выходить из церкви..."

Владимир Федорович Одоевский

Свидетель

Посв. А. И. Кошелёву

...Я выскочил из коляски и целовал родную землю. Звон русского православного колокола вывел меня из этого чувства самозабвения, которое находит на душу при виде отчизны, особенно после десятилетней с ней разлуки. Невдалеке на пригорке белелись стены монастыря. Забыв усталость, я бросился в открытые ворота храма, не с холодным любопытством путника, но как младенец бросается в объятия матери. Это испытали все после долгой разлуки с родною.

Всенощная отошла. Сквозь полукруглые окна проходили длинные, багровые лучи заходящего солнца, волновались в облаках церковного фимиама и рядами ложились на светлую позолоту иконостаса – как долгая, горькая, взволнованная кровавыми страстями молитва, достигшая наконец скинии завета души человеческой. Свежий вечерний воздух проникал в растворенные двери. Миряне начали выходить из церкви; за ними черною полосой потянулась монастырская братия. Я стоял неподвижно; опустелый храм мне казался еще величественнее, еще благодатнее. Его вид наводил те мысли, которые исчезают среди толпы, в жизни мятежной, которых не может уловить слово, но которые так внятно говорят сердцу. Почти неслышный шорох заставил меня заметить, что я не один. В отдаленном углу я заметил монаха, распростертого на холодном помосте. Невольное любопытство заставило меня также остаться в церкви. Наконец отшельник встал; лицо его осветилось лучами солнца.

Незнакомец, казалось, также узнал меня. Мы сошлись ближе.

– Ты ли это, Ростислав?

– Ты ли это, Григорий? – И мы бросились друг другу на шею. Я узнал старого товарища по службе, старого товарища моего детства.

– Что значит твоё платье? Что значит твоё бледное, изнывшее лицо? Ты ли это, удалой гусар, украшение петербургских балов?

Монах не отвечал ни слова, вздохнул глубоко и повел меня в свою келью. Вот что он рассказал мне:

«Вскоре после твоего отъезда в чужие края я отправился в отпуск к родным; в семье я нашел матушку, уже очень слабую и больную; моего младшего брата я почти не узнал: в его возрасте человек так быстро переменяется, – а я уже лет пять не видал его; теперь ему было около семнадцати лет; он был прекрасен собою и самого милого юношеского характера. Матушка не хотела отпускать его; она его одного из всех детей кормила сама, а ты знаешь, что это обстоятельство производит между матерью и детьми какую-то таинственную, неразрывную, почти физическую связь, которая усиливает в высшей степени и без того горячее материнское чувство и не проходит с годами. Вячеслав совсем было согласился на желание матери. Но когда он увидел мой блистательный мундир, мои усы, наслышался моих рассказов о полковом, приятельском круге, о театре, о всех наслаждениях петербургской жизни, – он позабыл просьбы матери, свои обещания и стал неотступно просить у нее позволения вступить в военную службу. Я присоединил к его просьбам мои; я представил матушке все выгоды, которые ему доставит этот род жизни; напоминал ей, что мы будем друг другу подпорюю; обещал быть при Вячеславе неотлучно, быть для него не только братом, но отцом. После долгой борьбы матушка однажды наедине подозвала меня к своим креслам и сказала: „Я не могу больше противиться вашим просьбам. Я не хочу, чтобы дети мои могли когда-либо обвинять меня в том, что я помешала их счастью в жизни. Возьми Вячеслава с собою; но, Ростислав, не радуйся моему согласию; ты не знаешь, какую ответственность я на тебя налагаю; если бы я могла от

кресел дойти до кареты, я поехала бы с вами, но это было бы бесполезно; для меня, старухи, все равно – семь– сот верст или семь сажень, – мне за вами не угнаться; я была бы вам только помехою в жизни, а ты знаешь, что я не принадлежу к числу тех матерей, которые по какому-то эгоизму любят держать детей своих возле себя на привязи, хотя и уверены, что им собою надоедают. Теперь слушай: Вячеслав дитя; он сам не знает, чего хочет, не знает ни людей, ни жизни, но ты, Ростислав, ты уже не ребенок: ты перешел это время страшного кризиса, когда в голове человека нет ни одной собственной мысли, когда он не может себе дать ни в чем отчета, когда каждое слово, погромче другого произнесенное, может совратить его с прямого пути. Ты, естественно, будешь иметь сильное влияние над твоим братом; еще долго он будет думать твоею головою, чувствовать твоим сердцем, жить твоею жизнью. Береги себя, береги его. Я не приму от тебя никаких оправданий – что он сделает, в том ты будешь виноват передо мною; в твоих сношениях с братом ты должен все предвидеть, все предупредить, и в его поступках ты мне дашь ответ, и в сей и в будущей жизни“. Эти слова до сих пор звучат в моем слухе. Матушка была растрогана – я также. Я в душе был твердо убежден, что ее доверенность ко мне не напрасна, и дал ей страшную клятву исполнить ее священный завет.

Срок моего отпуска приблизился, мы вырвались из объятий матушки. Вячеслава я уложил в коляску почти без памяти: он плакал, как ребенок.

Я не буду описывать тебе первых годов нашей петербургской жизни. Я не мог жаловаться на Вячеслава: он был немножко ветрен, но зато сохранил всю девственность души, столь редкую ныне между молодыми людьми; безделица его огорчала, безделица его же веселила; он был весь наружу, говорил все, что ему ни приходило в голову; в веселую минуту прыгал по столам и стульям, в грустный час не мог удержаться от слез; иногда по целым часам бегал по комнате с Боксеном, молодою легавою собакою; я тогда говаривал, что они любили друг друга по симпатии характеров, ибо один был такой же бешеный, как другая. В самом деле, Боксен, неприступный даже для меня, позволял Вячеславу делать с собою все, что приходило в его ветреную голову, и когда, бывало, они вместе разыграются, надобно было иметь все мое хладнокровие, чтобы или не расхохотаться, или не рассердиться не в шутку; но признаюсь, мне больше нравилось детское простодушие моего брата, нежели ранняя расчетливость некоторых из его товарищей, которые, казалось, были дипломатами еще в колыбели. Я познакомил его со многими дамами; возил на балы; он танцевал усердно, с полным, искренним удовольствием; его веселый открытый вид не мог не нравиться: дамы волочились за ним без всякого милосердия, принимая его за настоящего ребенка, а он, проказник, как говорится, *faisait le gros dos*¹. Я любовался, смотря на него, как отец на свое дитя.

Наконец наступил давно, нетерпеливо ожидаемый день: Вячеслав был произведен в корнеты; изобразить его радость невозможно; незнакомый с чинным притворством нынешней молодежи, он беспрестанно вертелся перед зеркалом то той, то другой стороной, чтобы лучше видеть свои эполеты; потом то бросался обнимать меня, то надевал трехугольную шляпу, то таскал Боксена за лапы. „Ты знаешь ли, Боксен, – говорил он, – что я теперь корнет? Понимаешь ли ты это? Знаешь ли, что ты теперь будешь ходить по Невскому проспекту со мною, с господином корнетом?..“ И, казалось, Боксен понимал его; по крайней мере махал хвостом и отвечал на слова Вячеслава громким лаем. Все эти простые происшествия нашей тогдашней жизни, все слова Вячеслава так живы в моей памяти».

Слеза скатилась с ресниц отшельника; он глубоко вздохнул, призадумался, вероятно, для того, чтобы собрать свои мысли, и наконец продолжал:

«У одного из наших товарищей, Вецкого, был старший брат, служивший в статской службе. Я очень любил его; он был человек весьма замечательный по своему уму, но отроду я не видывал человека более неловкого: он был физически какой-то недоносок и потому очень

¹ Важничал (*франц.*).

слабого здоровья. Он имел сознание своего физического бессилия и потому не позволял себе никакого удалства, даже никакого гимнастического упражнения. Он ходил медленно, осматривая каждый шаг свой; ездил верхом так, что кавалеристу нельзя было смотреть на него без смеха, и когда молодежь гарцевала на горячих скакунах, он боязливо осведомлялся, какая лошадь смирнее, и тщательно осматривал, хорошо ли подтянута у ней подпруга. К тому же, он имел какой-то недостаток в выговоре, который заставлял его говорить протяжно, почти заикаясь. Можешь себе представить действие, которое он производил в кругу молодых, ловких кавалеристов, полных жизни и отваги, часто доходившей до безрассудства. Вецкий был хороший товарищ; его любили, но всякий почитал обязанностью трунить над ним, над его нежным сложением, неразвязностью, над его осторожностью, которая часто походила на боязливость. Вецкий сносил все эти насмешки с величайшим хладнокровием; иногда отделялся умной шуткой, иногда сам с другими смеялся над собою, но чаще не знал, что отвечать на неожиданные вылазки, ибо казалось, и умственные его способности были так же неразвязны, как телесные. Он принадлежал к числу тех людей, которых легко сбить с толка, забросав их словами, и которые часто никак в первую минуту не найдутся. Но такое состояние было неприятно Вецкому, хотя он и старался скрывать гнев свой под всегда спокойною, холодною наружностью; видно было, что он употреблял все усилия, чтобы не терять власти над собою, приговаривая с улыбкою, что ему сердиться *нездорово*. С некоторого времени я замечал, что брат мой больше всех трунит над Вецким, но мы все так уже привыкли смеяться над нашим *фрачником*, так привыкли видеть в нем забавное препровождение времени, что я не обращал на поведение моего брата особенного внимания; оно всем нам казалось так естественным. Дело было в том, как я после узнал, что Вячеслав приревновал Вецкого к одной красавице, которой, по странному капризу, больше нравился наш неловкий чудак, нежели мой ловкий, прекрасный кавалерист.

Новые офицеры должны были, что говорится, *спрыснуть свои эполеты*; они разбирались днями, чтобы сперва пировать у одного, потом у другого, но скорый выход полков из казарм в окрестности Петербурга заставил их отложить свои пирушки до тех пор, пока не перейдут совсем на летние квартиры. Наконец наступили дни пирушек. Ты не можешь иметь об них понятия; десять лет – целый век в России; миновалось время грубых, необузданных оргий, которые ты еще помнишь; ныне молодые люди благоразумны даже за бутылкой вина; нынешние оргии – чинны, благородны; на них может присутствовать женщина не краснея, но, несмотря на это, шампанское по-прежнему производит на людей свое действие, от него также поднимается кровь в голову. Правда, ныне, говорят, уже не честь пить до того, чтобы свалиться под стол, но по-прежнему от вина человек становится веселее, быстрее, неожиданнее в движениях и по-прежнему все его чувства становятся живее; всякая мысль, иногда забытая в глубине души в трезвом состоянии, растет под поливкою шампанского, как под микроскопом. Пирушка происходила в небольшой деревенской избе; на шампанское не скупилась; к тому же пирушка была не первая, и головы всех, даже Вецкого, были, как говорится, на втором взводе. Вот уже два часа за полночь. Мне стало душно; я вышел из избы, пошел по деревне; как теперь помню, ночь была холодная, светлая; я с наслаждением впивал в себя свежий воздух, любовался видом деревни, которая уже начинала багроветь от первых лучей зари; все было тихо, но светился лишь домик, в котором была пирушка; в окошках мелькали тени; до меня доходили хохот и веселые крики молодежи. Вдруг... все стихло; при этой внезапной тишине я невольно вздрогнул; сердце мое сильно забилося, будто я услышал страшную, недобрую весть. Не отдавая себе отчета в моих чувствах, я невольно удвоил шаги, возвращаясь к избе. Когда я вошел в нее, предчувствие мое оправдалось: со мною в дверях встретился Вецкий, с шляпою в руках: он не сказал мне ни слова, но был бледен как полотно и под равнодушною улыбкой тщетно хотел скрыть внутреннее волнение.

Мне тотчас рассказали, что случилось в мое отсутствие: пустая ребяческая шалость, но которая должна была окончиться кровью...

Молодые люди открыли окошко на двор; один из них вздумал выскочить из него, за ним другой, потом третий; кто падал, кто ушибался, потому что окно было довольно высоко. Общій смех, опасность возбудили в молодежи странное самолюбие: всем захотелось испытать, не сло- мит ли кто себе шеи при этом подвиге?

– Ну, ты что же? – сказал брат старшему Вецкому с насмешливою улыбкою.

– Я не намерен скакать, – отвечал Вецкий холодно.

– Нет! ты непременно должен скакать.

– Я тебе сказал, что не хочу.

– Ты не хочешь скакать, – отвечал брат, разгоряченный вином, – потому что ты трус.

– Я не советую тебе повторять этих слов, – сказал Вецкий.

Бедный брат не помнил сам, что говорил, что делал.

– Не только повторю, – возразил он, подбоченившись, – но еще скажу графине М... (дама, за которую они оба волочились), скажу ей: ваш нежный обожатель – трус! Не угодно ли об заклад?

Вецкий, несмотря на все свое хладнокровие, вышел из себя; он сильно схватил брата за руку и проговорил:

– Осмелся, сумасшедший!

Удар перчаткой по лицу был ему ответом.

Что тут оставалось делать? Некоторое время я думал примирить противников, но как? Заставить брата просить прощения – невозможно: его самолюбие было распалено офицерским мундиром. Он сам чувствовал, что поступил глупо, но начать свое поприще тем, что он называл подлостью, струсить, – на это он не соглашался. Я сам в то время не мог вообразить этого без ужаса. Мне оставалось действовать на Вецкого; я рассчитывал на его всегдашнюю робость, на всегдашнюю его осторожность и благоразумие. В эту минуту эгоизма, мне казалось, ничего не стоило оставить этого человека под игом всеобщего презрения, чтобы только спасти брата. Смирив свою гордость, я пошел к нашему фрачнику.

Когда я вошел в его комнату, он сидел за письменным столом и спокойно курил сигару. Его спокойствие меня встревожило.

– Я хотел говорить, – сказал я ему, – не с вашим секундантом, но с вами. Вы, как человек благоразумный, должны видеть в поступке моего брата не иное что, как шалость мальчика, который не заслуживает вашего внимания.

Вецкий посмотрел на меня с удивлением и улыбнулся.

– Вы поверите, – сказал он, – что я больше, нежели кто другой, жалею о поступке вашего брата. Но позвольте вам сказать: вы сами не думаете того, что говорите; скажите сами, можно ли это оставить без внимания?

Эти немногие слова переменили образ моих мыслей о Вецком. Я захотел тронуть чув- ствительность его сердца; я рассказал ему все наши домашние обстоятельства – прощание с матушкой, ее слова... Я не щадил Вячеслава, называл его безумным, шалуном; я даже выго- ворил слово: *прощение*...

– Позвольте вас спросить, – сказал мне Вецкий, с обыкновенною своею холодною улыб- кой, – вы предлагаете мне извинение от имени вашего брата или от своего?

Я смешался и не знал, что ему отвечать. Он устремил на меня пронизательный взгляд.

– Я хорошо понимаю ваше положение; я знаю, ваш брат не будет у меня просить про- щения, и ему нельзя у меня просить прощения. Я очень сожалею об вас и даже об нем; я не брeтер; дуэли не мое дело; мое правило в жизни было: всегда избегать повода к ним, но, – прибавил он выразительно, – никогда не отступать ни шагу назад, когда опасность неизбежна. Войдите в мое положение: сколько раз я отделялся шутками от таких слов вашего брата, за которые другой имел бы уже десятка два дуэлей? Я щадил его молодость и, признаюсь вам, щадил самого себя, ибо в жизни и без того много неприятностей, да она же и коротка: зачем

ею жертвовать по пустякам? Но здесь дело другого рода. Подумайте сами, что будет со мною, если вдобавок к общему мнению о моем излишнем благоразумии, я и этот случай оставлю, как вы говорите, без внимания? Вы знаете предрассудки общества: я не найду места на земном шаре; на меня будут показывать пальцами; мне останется застрелиться, но это, согласитесь сами, было бы несогласно с моим *благоразумием*.

Его слова были холодны, просты и насмешливы; по тогдашним моим понятиям, я не мог их опровергнуть.

– Если так, – вскричал я с жаром, – то вы, милостивый государь, будете иметь дело со мною.

– Если это может вам доставить удовольствие, – отвечал Вецкий, отряхая золу с сигарки, – но не прежде, как мы окончим дело с вашим братцем. Впрочем, вы сами знаете, что и брат ваш, вероятно, не согласится на такую сделку. Извините – мне теперь надобно окончить некоторые письма.

С сими словами он холодно поклонился; я выбежал из комнаты с отчаянием в сердце.

Дома ожидал меня секундант Вецкого. Он объявил мне, что ему поручено не соглашаться ни на какие миролюбивые предложения, кроме одного, чтобы брат мой согласился пред всеми офицерами полка принести извинение Вецкому. Не знаю, как ныне, но тогда такое условие казалось совершенно невозможным.

Оставалась одна последняя надежда – Вецкий не умел стрелять. Я, по тогдашним понятиям, был естественным секундантом моего брата, я был всех ближе к нему, и это дело мне казалось неминуемым долгом родства и дружбы. Придумывая все средства, чтобы дать какой-нибудь перевес моему брату, я предложил стреляться в двадцати шагах, и выстрелившему остановиться у барьера. Я надеялся на меткость брата. Секундант Вецкого охотно принял мое предложение. Едва мы окончили эту кровавую сделку, как вошел Вячеслав. Боксен прыгал перед ним с радостным лаем. Брат старался показывать беспечность и спокойствие, играл и прыгал с собакою по-прежнему, но я видел, что он был внутренне взволнован. Вероятно, юноше представлялась жизнь во всей ее прелести; вероятно, ему не хотелось расстаться с нею; я глядел на его свежее, красивое лицо, и сердце мое обливалось кровью. В эти немногие часы я постарел двадцатью годами.

Чрез несколько минут мы были уже на месте. Мысль, что я привел брата под свинцовую пулю, отнимала у меня все способности думать и действовать; тщетно хотел я показать хладнокровие, требуемое в таких случаях, – я не помнил самого себя: секундант Вецкого исполнил мою должность. Наступила решительная минута; я собрал все свои силы; осмотрел пистолет Вячеслава; они стали на места. Вецкий был холоден как лед: едва заметная улыбка была видна на стиснутых губах его; казалось, он стоял у камина на блестящем рауте. Взглянув на Вячеслава, я с ужасом заметил, что рука его дрожала.

Дан сигнал. Противники стали медленно приближаться... Вид опасности заставил Вячеслава забыть все мои советы – он выстрелил... Вецкий зашатался, но не упал; пуля разбила ему левое плечо.

Скрывая свои страдания, он знаком пригласил Вячеслава приблизиться к барьеру; брат с невольным судорожным движением ему повиновался...

В эту минуту я оцепенел; меня облило холодным потом; я видел, как медленно приближался Вецкий, как наводил он убийственный курок, видел спокойный, неумолимый взгляд Вецкого. Вот он уже в двух шагах от брата; я вспомнил матушку, ее слова, мои обещания, и пришел в состояние, близкое к сумасшествию; у меня потемнело в глазах, я забыл все: и честь, и совесть, и условия общества; я помнил только одно, что *пред моими глазами убивают моего брата*... Я не вытерпел этой минуты, я бросился к Вячеславу, обхватил его, заслонил собою и закричал Вецкому:

– Стреляйте!

Вецкий опустил курок.

– Разве такие были условия дуэли? – сказал он, спокойно обращаясь к своему секунданту.

Общий крик негодования раздался между присутствовавшими; меня оттащили от брата... Раздался выстрел – Вячеслав упал замертво!

Как рассказать, что со мною происходило в это время? Я вырвался от державших меня, кинулся к Вячеславу и, не помня ничего, смотрел на его жестокие, предсмертные муки; я видел, как он судорожно извивался в нестерпимых страданиях! я видел, как глаза его закрылись навеки!.. В эту минуту Боксен, с оборванной веревкой, прибежал на кровавое место, припал к Вячеславу, выл и лизал его рану.

Этот вид привел меня в себя; я вскочил, схватился за пистолет, но Вецкий, ослабевший от раны, лежал уже без памяти на носилках. Распаленный мщением, я было бросился к страдальцу и готов был растерзать его, но меня остановили... Как будто сквозь сон отдавались в моих ушах упреки и суждения моих сослуживцев...»

«Что тебе рассказывать далее? – продолжал отшельник. – Ты знаешь следствия дуэли. Но казнь за преступление была для меня легка: моя казнь была в моем сердце. Жизнь для меня кончилась; я жаждал одного: или в битве с врагами потерять мою ненужную жизнь, или похоронить себя заживо. Первой чести я не удостоился. Здесь, вдали от родины, не знаемый никем, я стараюсь плачем и рыданием заглушить голос моего сердца. Но до сих пор ночью будят меня страшные видения: мне представляются Вячеслав, облитый кровью... матушка, умирающая с отчаяния... и в ушах моих отдаются страшные слова писания: „Каин, где брат твой?“»